

Марина Цветаева

Черт



*Часть сборника
Проза (сборник)*



Марина Цветаева

Черт

«Public Domain»

1935

Цветаева М. И.

Черт / М. И. Цветаева — «Public Domain», 1935

«... По летам, когда мы переезжали на дачу, Черт переезжал с нами, верней уже оказывался – в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами – сидящим на Валериинной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетающей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печки. Когда на Валериинной кровати сидел Черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел – чугунная печь в углу выглядела им. ...»

Содержание

Марина Цветаева	5
Примечания	22

Марина Цветаева

Черт

Связался черт с младенцем.

Черт жил в комнате у сестры Валерии, – наверху, прямо с лестницы – красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль.

Начиналось с того, что меня туда зазывали: «Иди, Муся, там тебя кто-то ждет», либо: «Скорей, скорей, Мусенька! Там тебя ждет (протяжно) сюрпри-из». Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, что это за «кто-то» и какой это сюрприз, и зазывавшие знали, что – знаю. Были это – либо Августа Ивановна, либо Асина няня, Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но всегда – женщина, и никогда – мать, и никогда – сама Валерия.

И вот, полуподталкиваемая, полу – комнатой – втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенские перед угощением, немножко боком и немножко волком – входила.

Черт сидел на Валериинной кровати, – голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Черт сидел так смиренно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость и даже бритость, из стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего черта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти – догово. Когда мне, двадцать лет спустя, в Революцию, привели на подержание дога, я сразу узнала своего Мышатого.

Рогов не помню, может быть, и были маленькие, но скорей – уши. Что было – хвост, львицын, большой, голый, сильный и живой, как змей, грациозно и многократно перевитый вокруг статуарно-недвижных ног – так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног (ступни) не было, но и копыт не было: человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы, опять-таки львицыно-договы, с крупными, серыми же, серого рога, когтями. Когда он ходил – он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметамы были не лапы, не хвост, – не атрибуты, главное были – глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы – без всего.

Действия не было. Он сидел, я – стояла. И я его – любила.

По летам, когда мы переезжали на дачу, Черт переезжал с нами, верней уже оказывался – в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами – сидящим на Валериинной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетающей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печи. Когда на Валериинной кровати сидел Черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел – чугунная печь в углу выглядела им. Общими были: масть – с серо-синим по чугуну отливом лета, полный лед: печи – летом, подпотолочный рост – и полная неподвижность. Печь стояла так смиренно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала, и я с особой усладой тайного узнавания прижималась к ней стриженным, горячим от лета, затылком, читая Валерии вслух запрещенные матерью и поэтому Валерией разрешенные – в руки данные – «Мертвые Души», до которых – мертвецов и душ – так никогда и не дочиталась, ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться – и мертвецы и души – как нарочно слышался шаг матери (кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только, в нужную минуту – как по заводу – проходила) – и я, обмирая от совсем уже другого – *живого* страха, пихала огромную книгу под кровать (ту!). А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаружи-

валось, что *их* уже нет, что *они* уже опять отъехали вперед – на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до *мертвых душ* никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая моральная страшность (физическая уютность) героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшной названия: не удовлетворила во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия.

...Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой – к ледяному. Но к нему – только в образе печки, к нему – тому – никогда. Впрочем, все же – да, но это потому что на руках и через реку.

Купаюсь ночью в Оке. Не купаюсь, а оказываюсь – одна, на середине Оки, не черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто сразу, тону. Уже потонула. Начнем сначала: тону на середине Оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла – взлет (который *знаю* с первой секунды!) – я – на руках, высоко над Окой, голова под небом, и несут меня «утопленники», собственно – один и, конечно, совсем не утопленник (утопленник – я!), потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь, и он не синий, а серый, и жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею – по праву всякого утопающего.

Шагаем с ним по водам, то есть шагает – он, я – еду. А другие («утопленники» – или кто? Его подвластные) громко и радостно, где-то под низом – во-оют! И, ступив на другой берег – тот, где дом Поленова и деревня Бёхово – он, с размаху ставя меня на землю, с громовым – так и гром не грохочет! – смехом:

– А когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми!

О, как мне тогда, в младенчестве, это нравилось: «черт возьми» – из его уст! Как до глубины живота ожигало это молодечество! Перенес по водам, и, как самый обыкновенный мужик – или студент – «черт возьми!», – точно он может этого бояться – или желать, – точно его, или меня на его руках, – вообще может взять черт! И никогда меня не омрачила мысль, что это – для меня из снисхождения к моему малолетству, точка над *i* собственной *identité*¹, чтобы я не ошиблась, что он – действительно – он. Нет, он просто играл – в простого смертного, что «я не я и лошадь не моя».

Нужно сказать, что, за ошеломляющим – из его уст – «черт возьми», само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходило на задний план, но когда я, усладившись возгласом во всех его, во мне, отзвуках, сама несколько *отходила* – о, нестерпимость этого триумфа! Он, без всякой моей просьбы, сам... Он со мной – поженился! На совершенно мокрой, маленькой...

И вот, однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока – не в силах:

– Мама! Мне сегодня снились... утопленники... Будто они меня взяли на руки и несли через реку, а тот, главный утопленник, мне сказал: «Мы с тобой когда-нибудь поженимся, черт возьми!»

– Поздравляю! – сказала мать. – Я тебе всегда говорила! Хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты...

Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пресечет, я, торопливо:

– Но это, правда, были утопленники, самые-совершенные, синие...

И в распухнувшее тело
раки черные впились!

– И ты находишь, что это – *лучше?* – иронически сказала мать. – Какая гадость!

¹ Тождественностью (*фр.*).

Но была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, – типа встреч, одна-единственная – неповторившаяся. Меня, как всегда, заманивают в Валериину трехпрудную комнату, но не один кто-то, а много, – целый шепчущий и тычущий пальцем круг: тут и няня, и Августа Ивановна, и весной, с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна, и другая Марья Васильевна, с лицом рыбы и странной фамилией Сумбул, и даже та портниха, *у* и *от* которой так пахнет касторкой (кумачом) – и все они, в голос:

– Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет...

Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, – мнусь. Наконец вхожу. И – о, ужас! Пусто. На кровати – никого. Его на постели – нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната – одна, как я – одна. Без него.

Остолбенев, перехожу глазами от пустой кровати к жар-птицыной ширме (за которой его, наверно, нет, ибо не будет же он играть в прятки!), от ширмы к книжному шкафу, – такому странному: где вместо книг видишь себя, и даже к шкафчику с – как няня говорит – «безделюшками», от «безделюшек» к явно пустому красному дивану с пуговицами, втиснутыми в малиновое мальвовое мясо атласа, от атласа к белой, в синюю клетку, печке, увенчанной уральским хрусталем и ковылем... В том же столбняке шагаю к окну, из которого видны *те* деревья: серые ивы вокруг зеленой церкви, серые ивы моей тоски, местонахождения которых в Москве и на земле я так никогда и не узнала и не попыталась узнать.

С сосущим чувством: обману-ул! – стою, упершись лбом в первый низкий квадрат окна, жгу себе глаза удерживаемыми слезами, и опустив, наконец, глаза, чтобы отпустить, наконец, слезы... – на ватном дне окна, между двумя рамами, в зеленоватом стекле, как в спирту! – целая россыпь крохотных серых скачущих, страшно-веселых, вербных, с рожками-с-ножками, все окно превративших в вербную чертикову бутылку.

Вежливо улыгнувшись, как на слишком младенческую игрушку, и постояв сколько нужно, чтобы не обидеть – не их, бессмысленно-скачущих и меня знать-не-знающих, а – того, немножко утешенная, немножко обиженная, в последний раз проверив пустую кровать – выхожу.

– Ну как? Ну как? – с гримасами и ужимками няня, Августа Ивановна, две Марьи Васильевны, портниха Марья Игнатьевна и еще три нафталиновых монашки, которые, при особых обстоятельствах времени и места, дико щекоча, запихивают меня в Валериин красный сундук за перегородкой.

– Ничего. Спасибо. Очень хорошо, – я, нарочито-медленно и напряженно-непринужденно проходя сквозь их тянущиеся и несмеющиеся руки. (Проходя и не глядя, вижу, что Августа Ивановна не очень уж похожа, и у няни почему-то из угла рта висит язык...)

Чертики в окне и страхобесие у двери не повторились. Что это было? Простая замена, оттого что сам не мог прийти, – или искус, испытание взрослости и верности: променяю ли я, пятилетняя, его, настоящего и единственного, на то вербное множество? То есть, встав спиной к пустой – им – кровати, не стану ли попросту – играть?

Нет, с игрой было кончено! Дьявол моего младенчества мне, среди много другого, оставил в наследство: неизбывное, как догов зевок, от всего, что игра: «Ску-учно!»

Почему Черт жил в комнате Валерии? Тогда я об этом не думала (а Валерия так никогда и не узнала). Это было так же просто, как то, что я живу в детской. Папа живет в кабинете, бабушка на портрете, мама на рояльном табурете, Валерия в Екатерининском институте, а Черт – в комнате Валерии. Тогда это был факт.

А теперь – знаю: Черт жил в комнате Валерии, потому что в комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого – «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, виновато и

неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь, как те на Бога, но никогда не предав своего змея. («Это тебе Лёра дала?» – «Нет, сама взяла».) Черт в Валериину комнату пришел на готовое место: моего преступления – материнского запрета.

Но было еще – другое. В Валериинной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» – и первый роман моей жизни – «Anais». В ее комнате *была* любовь, жила – любовь, – и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц – но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня – глазами глядят! – серебряные пилюли.

Конфетки – но страшные, пилюли – но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно – загораживаясь спиной и лбом в комод – глотала, как я – лбом в шкаф – «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли – ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж – за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!

«Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю?» – «Нет». – «Почему?» – «Потому что тебе не нужно». – «А если съем – я умру?» – «Во всяком случае, заболеешь». Потом (чтобы успокоить читателя) обнаружилось, что пилюли – самые невинные, *contre les troubles*² и т.д. – самые обычные барышнинские, но никакая нормальность их применения не вытравила из меня странного образа желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся из комода сладкого ядовитого серебра.

Но не только ее семнадцатилетний пол царил в этой комнате, а вся любовность ее породы, породы ее красавицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всем этим атласам и муарам, навек-продушенным и недаром так жарко – малиновым.

А не приходил ли Черт к самой Валерии? Ведь она-то не знала, что он ко мне приходит, так же и я могла не знать, что он – к ней. (Бескровное смуглое лицо, огромные змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, – ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо – ведьмы.) И все же – нет. Нет, ибо она после Екатерининского института поступила на Женские курсы Герье в Мерзляковском переулке, а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, – вообще всю жизнь *пропоступала*. Первая же примета его любимцев – полная разобщенность, отродясь и отсюда – выключенность.

Нет, Черт никакой Валерии не знал. Но он и матери моей не знал, такой одинокой. Он даже не знал, что у меня есть мать. Когда я была с ним, я была – *его* девочка, его чертова сиротиночка. Черт в меня, как в ту комнату, пришел на готовое. Ему просто нравилась комната, тайная красная комната – и тайная красная девочка в столбняке любви на пороге.

Но одна моя встреча с ним, как ни странно, произошла через мать, через...

«Красный карбункул, —

провозгласила мать. – Что такое «Красный карбункул»? Ну, ты, Андрюша!» – «Не знаю», – твердо ответил он. «Ну, что тебе кажется?» – «Ничего не кажется!» – так же твердо ответил он. – «Но как это может быть, чтобы ничего не казалось! Всегда – кажется! И тебе – кажется! Кар-бун-кул. Ну?» – «Карболка?» – равнодушно предложил Андрюша. Мать только

² Успокоительные (*фр.*).

рукой махнула. «Ну, а ты, Асенька? Только вслушайся внимательно: кар-бун-кул. Неужели тебе ничего не представляется?» – «Пред-ставляется!» – слегка преткнувшись, но с большим апломбом выпалила ее любимица. «Ну – что же?» – с страстной жадностью ухватила мать. «Только не знаю – что!» – с той же быстротой и апломбом – Ася. «Ах нет, Асенька, ты, должно быть, действительно, слишком мала для такого чтения. Мне это дедушка читал, когда мне было уже семь лет, а тебе только пять». – «Мама, мне тоже уже семь!» – наконец не выдержала я. «Ну и что же?» Но не последовало – ничего, потому что я уже опять оробела. «Ну, а по-твоему, что такое карбункул? Красный карбункул?» – «Такой красный графин?» – упавшим голосом, обмирая от надежды, спросила я (Karaffe, Funkeln³). «Нет, но ближе. Карбункул – это красный драгоценный камень, по бокам (кар-бун-кул) – граненый. Поняли?»

Все шло хорошо до Зеленого. Кто-то приходит – не то в погребок, не то в пещеру. «А Зеленый уж там, и сидит он и карты тасует». – «Кто такой Зеленый? – спросила мать, – ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?» – «Охотник», – равнодушно сказал Андрюша. «Какой охотник?» – наводяще спросила мать.

Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
Gib sie wieder her!
Gib sie wieder her!
Sonst wird dich der Jaeger holen
Mit dem Schieassgewehr,
Sonst wird dich der Jaeger holen
Mit dem Schiess-ge-we-ehr!⁴ —

с полной готовностью пропел Андрюша. «Гм... – и намеренно минуя меня, *уже и так же* рвущуюся с места, как слово с уст. – Ну, а ты, Ася?» – «Охотник, который ворует гусей, лисиц и зайцев», – быстро срежюмировала ее любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами. «Значит – *не* знаете? Но зачем же я вам тогда читаю?» – «Мама! – в отчаянии прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. – Я – знаю!» – «Ну?» – уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание книги. «Зеленый, это – *der Teufel!*⁵» – «Ха-ха-ха!» – захохотал Андрюша, внезапно распрямляясь и сразу нигде не уместаясь. «Хи-хи-хи!» – угодливо залилась за ним Ася. «Нечего смеяться, она права, – сухо остановила мать. – Но почему же *der Teufel*, а не... И почему это всегда *ты* все знаешь, когда я *всем* читаю?!»

* * *

От Зеленого и «тасует», а отчасти и от маминой горничной Маши Красновой, все ронявшей из рук: подносы, сервизы, графины – и даже целых судаков под соусами! ничего не умевшей держать в руках, кроме карт, я к семи годам пристрастилась к картам – до страсти. Не к игре, – к ним самим: ко всем этим безногим и двуголовым, безногим и одноруким, но обратно-головым, и обратно-руким, самим себе-обратным, самим от себя отворотным, самим себе изножным и самим с собою незнакомым высокопоставленным лицам без местожительства, но с целым подданством одномастных троек и четверок. Что тут было в них, или, как Ася – ими играть, когда они сами играли, сами и были – игра: самих с собою и самих в себя. Это было

³ Графин, сверканье (нем.).

⁴ Ну-ка, лис, верни поживу. Брось гуся живьем! (2 раза) А не то охотник живо Громыхнет ружьем! (2 раза) (Пер. с нем. А. Парина).

⁵ Черт (нем.).

целое живое нечеловеческое по-поясное племя, страшно-властное и не совсем доброе, бездетное и бездедное, не живущее нигде, как на столе или за щитком ладони, но тогда и зато – с какой силой! Что в дюжине – двенадцать яиц, этому меня учили – годы, но что в каждой масти – тринадцать карт и что тринадцать – чертова дюжина – с этого бы меня не сбили даже в самом сонном сне. О, как сразу я, так медленно усваивавшая четыре правила – усвоила четыре масти! Как с первого раза я, до сего дня не уверенная в значении деепричастия и, вообще, назначении грамматики, усвоила значение каждой карты: все эти дороги, деньги, сплетни, вести, хлопоты, марьяжные дела и казенные дома – значение карты и назначение карт. Но больше всего, даже больше бубнового неженатого короля, моего жениха через девять лет, даже больше пикового короля, – грозного, тайного, – Лесного Царя, как я его звала, даже больше червонного валета сердца и бубнового валета дорог и вестей (дам я, вообще, не любила, у всех у них были злые, холодные глаза, которыми они меня, как знакомые дамы – мою мать, судили), больше всех королей и валетов я любила – пиковый туз!

Пиковый туз у Маши был удар, и удар – *был*, удар занесенным черным вверх глядящим сердцем конца алебарды – в сердце. Пиковый туз был – Черт! И когда та же Маша, сняв положенные мне, бубновой, ибо незамужней, даме на сердце карты и открывши последнюю, сердечную, сама пугалась: «Ай-ай-ай, Мусенька, плохое твое дело, а под самым низом-то – удар! Ну, ничего, может, еще никто не помрет – да кому и помирать? Дедушка – померли, старого больше у нас никого – значит, мамаша заругает или опять с Густыванной подерешься», – я, со всем превосходством знания, со всей непоколебимостью тайны: «Это не удар, – а – секрет». Удар был – привет. Удар по мне привет. Удар по мне радости и страха: любви. Так я, несколько лет спустя, в генуэзском Нерви, нечаянно завидев из окна гостиницы «Beau-Rivage» и направляющегося к ней: в ней заточенным нам с Асей – революционера «Тигра», испугалась от радости – так, что швейцарская бабушка, испуганно: «Mais, qu'as-tu donc? Tu es toute blanche! Mais, qu'as-tu donc vu?»⁶. Я, внутри рта: «Lui»⁷.

Да, туз был – Lui. Он, сгустившийся до черноты и сократившийся до клинка. Он, собравшийся в удар, как тигр – в прыжок. Позже и этого стало много, позже удар с сердца, на котором лежал, перешел – в сердце. Изнутри меня – шел, толкая – на все дела.

Но был у меня, кроме пикового туза, еще один карточный Он, и на этот раз не от русской Маши, а от дерптской Августы Ивановны, непосредственно с его баронской родины, и уже не гадание, а игра, общеизвестная детская игра с немножко фамильярным названием «Der schwarze Peter»⁸.

Игра состояла в том, чтобы сбить другому с рук пикового валета: Шварцего Петера, как в старину соседу – горячку, а еще и нынче – насморк: *передать*: наградив, избавиться. Сначала, когда карт и играющих было много, никакой игры, собственно, не было, вся она сводилась к круговой манипуляции карточным веером – и Петером, но когда, в постепенности судьбы и случая, стол от играющих и играющие от Черного Петера – очищались, и оставалось – двое, – о, тогда игра только и начиналась, ибо тогда все дело было в лице, в степени твердокаменности его. Прежде всего, это была дисциплина дыхания: не дрогнув вынести каждое решение – и перерешение – то схватывающей, то спохватывающей, и вновь промахивающей, и вновь опоминающей партнеровой руки. Дело берущего было – *не* взять, дающего – сдать. Берущего – почуять, дающего – сбить, сбить другого с верного чутья, внушить всем своим изолгавшимся существом – другое: что черное – красное, а красное – черное: Шварцего Петера держать с невинностью шестерки бубен.

⁶ Но что с тобой? Ты совсем бледная! Да что с тобой? (*фр.*)

⁷ Это Он (*фр.*)

⁸ «Черный Петер» (*нем.*)

О, какая чудесная, магическая, бестелесная игра: души – с душою, руки – с рукою, лица – с лицом, всего – только не карты с картой. И, конечно, в этой игре я, с младенчества воспитанная глотать раскаленные угли тайны, в этой игре мастером была – я.

Не буду говорить то, чего не было, ибо вся цель и ценность этих записей в их тождественности бывшему, в тождестве того, признаюсь, странного, но *бывшего* ребенка – самому себе. Просто было бы сказать и естественно было бы мне поверить, что я моего Черного Петера соседу совсем не подсовывала, а, наоборот, – отстаивала. Нет! Я в этой игре оказалась его настоящей дочерью, то есть страсть игры, то есть – тайны, оказывались во мне сильней страсти любви. Это была еще раз моя с ним тайна, и никогда, может быть, он так не чувствовал меня своей, как когда я его так хитро и блистательно – сдавала – сбывала, еще раз мою с ним тайну – скрывала, и, может быть, главное, – еще раз умела обойтись – даже без него. Чтобы все сказать: игра в *Schwarze Peter* была то же самое, что встреча с тайно и жарко любимым – на людях: чем холоднее – тем горячее, чем дальше – тем ближе, чем чуждее – тем *моее*, чем нестерпимее – тем блаженнее. Ведь когда Ася, и Андрюша, и Маша, и Августа Ивановна – для которых это входило в игру – с гиканьем и тыканьем в живот, как бесы кривляясь и носясь вокруг меня, орал: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» – я даже отыгратся не могла: даже одной хотя бы улыбкой из всей заливавшей меня тайной радости. Задержанный аффект радости бросался в руки. Я дралась. Но зато – с высоты какой убежденности, с какой через край наполненностью я, додравшись, роняла им в веселые лица: «Я – Schwarze Peter, зато вы – ду-ра-ки».

Но так же трудно, если не еще трудней, как не просиять лицом от Шварцега Петера, было не потемнеть лицом, когда в руке, вместо наверного его – вдруг – шестерка бубен, пара к уже имеющейся, уводящая меня из игры и Черным Петером оставляющая – другого. И плясать вокруг шварце-петринской Августы Ивановны с преступными, издевательскими, предательскими криками: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» – было, может быть, еще большим героизмом (или усладой), чем каменным, а затем и дерущимся столбом стоять среди беснующихся «победителей».

Может быть, я эту игру рассказала слишком бестелесно? Но что тут было рассказывать! Ведь действия не было, вся игра была внутри. Были только жесты рук, жест сбрасываемой карты, важной только, как пара: тем, что ее можно было сбросить. Без козырей, без ставок, без взяток, без (самоценности) королей, дам, валетов, – *карт*, с колодой, состоящей только из одной карты: *него!* – которого нужно было сбить. Игра не взять хотящая, а отдать. В этой игре, по ее бесплотности и страшности, действительно было что-то адово, аидово. Убегание рук от *врага*. Так друг другу, в аду, смеясь и трясясь, сбывают горящий уголь.

Смысл этой игры – глубок. Все карты – парные, он один – один, ибо его пара до игры – сброшена. Всякая карта должна найти свою пару и с ней уйти, просто – сойти со сцены, как красавица или авантюристка, выходящая замуж, – со стола всех еще возможностей, всемогности, единоличных и, может быть, исторических судеб – в тихую, никому уже не любопытную, не нужную и не страшную стопу отыгранных – парных карт. Предоставляя ему – весь стол, его – своей единственности.

Еще одним видом моего интимного общения с Петером была игра «Черт-черт, поиграй да отдай!», игра – только от слова «поиграй», ему – игра, а вовсе не просителю, заветную вещь которого: папины – очки, мамино – кольцо, мой – перочинный нож, он – заиграл. «Никак не иначе, как черт занес! Привяжи, Мусенька, платочек к стуловой ножке и три раза, да так – без сердца, ласково: „Черт-черт, поиграй да отдай, черт-черт, поиграй да отдай...“

Стянутый узлом платок концами торчал, как два рога, малолетняя же просительница сомнамбулически шлялась по огромной, явно пустой зале, ничего не ища и во всем положась и только приговаривая: «Черт-черт, поиграй да отдай... Черт-черт...» И – отдавал, как рукой подавал: с чистого подзеркальника, где только что и столько безнадежных и очевидных раз не

было ничего, или просто случайно руку в карман – там! Не говоря уже о том, что папе пропажу он возвращал непосредственно на нос, а маме – на палец, непременно на тот.

Но почему же Черт не отдавал, когда потеряно было на улице? А ноги не было, чтобы привязать! Не к фонарному же столбу! Другие привязывали куда попало (и, о, ужас! Ася однажды, заторопясь, даже к козьей ножке биде!), у меня же было мое заветное место, заветное кресло... но не надо про кресло, ибо все предметы нашего трехпрудного дома – заводят далёко!

С водворением в доме парижанки Альфонсины Дижон «Черт-черт, поиграй» удлинился на целый католический вежливый отросток: «Saint-Antoine de Padoue, trouvez-moi ce que j'ai perdu»⁹, что в контексте давало нечто нехорошее, ибо после третьего черта, без запятой и даже без глотательного движения, как припаянный: «Saint-Antoine de Padoue...» И *moi* вещи находил, конечно, Черт, а не Антоний. (Няня, с подозрением: «Анто-он? Свя-то-ой? На то и французинка, чтоб в такое дело святого мешать!») И до сих пор не произношу твоего святого, Антоний Падуанский, имени, без того, чтобы сразу в глазах: торчок бесовского платка, а в ушах – собственное, такое успокоительное, такое успокоенное – точно уже все нашла, что когда-либо еще потеряю! – воркование: «Черт-черт, поиграй да отдай, черт-черт...»

Одной вещи мне Черт никогда не отдал – меня.

Но не Валериины козни. Не материнский «Карбункул». Не Машин картеж. Не остзейская игра. Все это было только – служба связей. С Чертом у меня была своя, прямая, отрожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: «Бог – Черт!» Бог – с безмолвным молниеносным неизменным добавлением – Черт. И здесь уже Валерия была ни при чем – да и кто при чем? И в каких это – книгах и на каких это – картах? Это была – я, во мне, чей-то дар мне – в колыбель. «Бог – Черт, Бог – Черт, Бог – Черт», и так несчетное число раз, холодея от кощунства и не можа остановиться, пока не остановится мысленный язык. «Дай, Господи, чтобы я не молилась: Бог – Черт», – и как с цепи сорвавшись, дорвавшись: «Бог – Черт! Бог – Черт! Бог – Черт!» – и, обратно, шестым номером Ганона: «Черт – Бог! Черт – Бог! Черт – Бог!» – по ледяной клавиатуре собственного спинного хребта и страха.

Между Богом и Чертом не было ни малейшей щели – чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность. Бог, из которого вылетал Черт, Черт, который врезался в «Бог», конечное *z* (*x*) которого уже было – *ч*. (О, если бы я тогда догадалась, вместо кощунственного «Бог – Черт» – «Дог – Черт», от скольких бесполезных терзаний я была бы избавлена!) О, Божие наказание и терзание, тьма Египетская!

А – может быть – проще, может быть, отрожденная поэтова сопоставительная – противопоставительная – страсть – и склад, та же игра, в которую я в детстве так любила играть: черного и белого не покупайте, да и нет не говорите, только наоборот: только да – нет, черное – белое, я – все, Бог – Черт.

Когда я, одиннадцати лет, в Лозанне, на своей первой и единственной настоящей исповеди рассказала об этом католическому священнику – невидимому и так потом и не увиденному – он, верней тот, за черной решеткой, те черные глаза из-за черной решетки сказали мне:

– Mais, petite Slave, c'est une des plus banales tentations du Démon!¹⁰ – забывая, что ему-то, тертому и матерому, – «banale»¹¹, а мне – каково?

⁹ Святой Антоний Падуанский, отыщи мне то, что я потеряла (*фр.*).

¹⁰ Но, маленькая славянка, это же одно из самых обычных искушений дьявола! (*фр.*).

¹¹ Обычное (*фр.*).

Но до этой первой исповеди – в чужой церкви, в чужой стране, на чужом языке – была первая православная, честь честью, семилетняя, в московской университетской церкви, у знакомого священника отца, «профессора академии».

«А этот рубль ты после исповеди отдашь батюшке...» У меня в жизни в руке не было рубля, ни своего, ни чужого, а если на бедную медную одну копейку дают у Бухтеева два ириса, то сколько же на серебряный рубль? И не только ирисов, а книжек, вроде «Аксютка-нянька» или «Маленький барабанщик» (2 коп.). И это всё, и ирисы и Аксютки, я, за свою же неприятность с грехами, с утайкой грехов – ибо не могу же я рассказывать папиному приличному знакомому и заведомо расположенному ко мне ака-де-ми-ку, что я говорю «Бог – Черт»? И что хожу к Валерии в комнату на свидание к голому догу? И что, когда-нибудь, на этом голом доге – том главном утопленнике – женюсь? – итак, за свою же смертную опасность, а может быть, даже – смерть («одна девочка на исповеди утаила грех и на другой день, когда подходила к причастию, упала мертвая...»), должна отдать – сразу все, сама положить в руку «ака-де-ми-ку»?!

Холодный новый круглый, как нуль – полный, рубль как зубами врезался отточенным своим краем в руку, сжатую для верности в кулак, и я всю исповедь как ногами простояла на одном – не дам! И дала только в последнюю секунду, совсем уже уйдя, с величайшим усилием и насилием, и вовсе не потому что – плохо, а из страха: а вдруг батюшка погонится за мной через всю церковь? Нечего говорить, что мне, занятой рублем, и в голову не пришло осведомить батюшку о моих черных, серых делах. Батюшка спрашивал – я отвечала. А откуда ему было знать, что *такое* нужно спросить: «Не говоришь ли ты, например, Бог – Черт?»

Этого не спросил, спросил – другое. Первым его вопросом, первым вопросом моей исповеди было: «Ты чертыхаешься?» Не поняв и сильно уязвленная в своем самолюбии признанно умной девочки, я, не без заносчивости: «Да, всегда». – «Ай-ай-ай, как стыдно! – сказал батюшка, соболезнующе качая головой. – А еще дочь таких хороших богобоязненных родителей. Ведь это только мальчишки – на улице...»

Слегка обеспокоенная взятым на себя неизвестным грехом, а отчасти из любопытства: что это я *всегда* делаю? – я, несколько дней спустя, матери: «Мама, что такое чертыхаться?» – «Черты – что?» – спросила мать. «Чертыхаться». – «Не знаю, – задумалась мать, – может быть – поминать черта? И вообще, откуда ты это взяла?» – «Так мальчишки на улице ругаются».

Вторым же вопросом батюшки, еще более, хотя иначе меня удивившим, было: «С мальчишками целуешься?» – «Да. Не особенно». – «С которыми же?» – «С Володей Цветаевым и с андреевским Борей». – «А мама позволяет?» – «С Володей – да, а с Борей – нет, потому что он ходит в Комиссаровское училище, а там, вообще, скарлатина». – «Ну и не надо целоваться, раз мама не позволяет. А какой же это Цветаев Володя?» – «Это сын дяди Мити. Но только я с ним очень редко целуюсь. Раз. Потому что он живет в Варшаве».

(О, Володя Цветаев, в красной шелковой рубашечке! С такой же большой головой, как у меня, но ею не попрекаемый! Володя, все свое трехдневное пребывание непрерывно раскатывавшийся от передней к зеркалу – точно никогда паркета не видал! Володя, вместо «собор» говоривший «Успенский забор» – и *меня* поправлявший! Володя, заявивший обожавшей его матери, что я, когда приеду к нему в Варшаву, буду жить в *его* комнате и спать в *его* кровати.

– Но при чем тут черт? Ах, все такое – черт: тайный жар.)

Своего не предав и все главное утаив, я, естественно, на другой день без радости – и не без робости – подходила к причастию, ибо слово матери и соответствующее видение: «Одна девочка на исповеди утаила грех» и т.д. – все еще стояли у меня в глазах и в ушах. До глубины я, конечно, в такую смерть не верила, ибо умирают от диабета, и от слепой кишки, и еще, раз, в Тарусе, мужик – от молнии, и если гречневая каша – хоть бы одна гречинка! – вместо *этого* горла попадет в то, и если наступить на гадюку... – от *такого* умирают, а не...

Поэтому, не упав, не удивилась, а залив теплотой, в полной сохранности отошла к своим – и потом меня все поздравляли – и мать поздравляли «с причастницей». Если бы знали и если бы мать знала – с какой. Радости поздравлениям, как и белому платью, как и пирожкам от Бартельса – из-за полной всего этого незаслуженности – не было. Но и раскаяния не было. Было – одиночество с тайной. То же одиночество с все той же тайной. То же одиночество, как во время бесконечных обеден в холодильнике храма Христа Спасителя, когда я, запрокинув голову в купол на страшного Бога, явственно и двойственно чувствовала и видела себя – уже отделяющейся от блистательного пола, уже пролетающей – гребя, как собаки плавают – над самыми головами молящихся и даже их – ногами, руками – задевая – и дальше, выше – стойком теперь! как рыбы плавают! – и вот уже в розовой цветочной юбочке балерины – под самым куполом – порхаю.

– Чудо! Чудо! – кричит народ. Я же улыбаясь – как те барышни в Спящей Красавице – в полном сознании своего превосходства и недостижимости – ведь даже городской Игнатьев не достанет! ведь даже университетский педель не заберет! – одна – из всех, одна – над всеми, совсем рядом с тем страшным Богом, в махровой розовой юбочке – порхаю.

Что, мне об этом тоже нужно было рассказывать «академику»?

Есть одно: его часто – нет, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнее всего первичного: страха, страсти и даже смерти: *такт*. Пугать батюшку чертом, смешить догом и ого-рошивать балериной было не-прилично. Неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповеди я должна быть *как все*.

Другая же половина такта – жалость. Не знаю почему, но, вопреки их страшности, священники мне всегда казались немножко – дети. Так же, как и дедушки. Как детям (или дедушке) рассказывать – гадости? Или страшности?

Кроме того, как мне было рассказывать о *нем*, говорить о нем *он*, когда для меня он был *то и ты*. Говорить о нем *черт*, когда для меня он был Мышатый: *ты*, имя настолько сокровенное, что я и одна не произносила его вслух, а только в постели или на поляне, шепотом: «Мышатый!» Звук слова «Мышатый» был сам шепот моей любви к нему. *Не*-шепотом это слово не существовало. Звательный падеж любви, других падежей не имеющей.

Ведь если я о тебе сейчас пишу *он*, то ведь это потому что я о *тебе* пишу, не тебе! В этом вся ложь любовного рассказа. Любовь неизменно второе лицо, растворяющее – даже первое. *Он* есть объективизация любимого, то, чего нет. Ибо никакого *он* мы никогда не любим и не любили бы; только *ты*, – восклицательный *вдох!*

И – внезапное прозрение – по-настоящему, до дна души исповедоваться – во всем тебе во мне (для ясности: во всем «грехе» твоего присутствия во мне) – во *всей мне* – я бы могла – только тебе!

... Не тьма – зло, а тьма – ночь. Тьма – все. Тьма – тьма. В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Что это – *моя родная* тьма!

* * *

Нет, со священниками (да и с академиками!) у меня никогда не вышло. С православными священниками, золотыми и серебряными, холодными как лед распятия – *наконец* подносимого к губам. Первый такой страх был к своему родному дедушке, отцову отцу, шуйскому протоиерею о. Владимиру Цветаеву (по учебнику Священной истории которого, кстати, учился Бальмонт) – очень старому уже старику, с белой бородой немножко веером и стоячей, в коробочке, куклой в руках – в которые я так и не пошла.

– Барыня! Священники пришли! Прикажете принять?

И сразу – копошение серебра в ладони, переливание серебра из руки в руку, из руки в бумажку: столько-то батюшке, столько-то дьякону, столько-то дьячку, столько-то просвирне...

Не надо бы – при детях, либо, тогда уж, не надо бы нам, детям *серебряного* времени, про тридцать сребреников. Звон серебра сливался со звоном кадила, лед его с льдом парчи и распятия, облако ладана с облаком внутреннего недомогания, и все это тяжело ползло к потолку белой, с изморозными обоями, залы, на непонятно-жутких повелительных возгласах:

– Благослови, Владыко!

– О-о-о...

Все было – о, и зала – о, и потолок – о, и ладан – о, и кадило – о. И когда уходили священники, ничего от них не оставалось, кроме последнего, в филодендронах, о – ладана.

Эти воскресные службы для меня были – вой. «Священники пришли» звучало совершенно как «покойники».

– Барыня, покойники пришли, – прикажете принять?

Посредине черный гроб,
И гласит протяжно поп:
Буди взят моги-илой!

Вот этот-то черный гроб стоял у меня в детстве за каждым священником, тихо, из-за парчовой спины, глазел и грозил. Где священник – там гроб. Раз священник – так гроб.

Да и теперь, тридцать с лишним лет спустя, за каждым служащим священником я неизменно вижу покойника: за стоящим – лежащего. И – только за православным. Каждая православная служба, кроме единственной – пасхальной, *вопящей* о воскресении и с высоты разверстых небес отрясающей всякий прах, каждая православная служба для меня – отпевание.

Что бы ни делал священник, мне все кажется, что священник над *ним* наклоняется, *ему* кадит, изо всех сил уговаривает и даже – заговаривает: «Лежи, лежи, а я тебе попою...» Или: «Ну, лежи, лежи, чего уж тут...» Заклинает.

Священники мне в детстве всегда казались колдунами. Ходят и поют. Ходят и махают. Ходят и колдуют. Охаживают. Окуривают. *Они*, так пышно и много одетые, казались мне не-нашими¹², а не тот, скромно– и серо-голый, даже бедный бы, если бы не осанка, на краю Валериинной кровати.

От священников – серебряной горы спины священника – только затем горы, чтобы *скрыть*, мне и Бог казался страшным: священником, только еще страшней, серебряной горой: Араратом. И три барана детской скороговорки – «На горе Арарат три барана орали» – конечно, орали от страха, оттого, что остались одни с Богом.

Бог для меня был – страх.

Ничего, ничего, кроме самой мертвой, холодной как лед и белой как снег скуки, я за все мое младенчество в церкви не ощутила. Ничего, кроме тоскливого желания: когда же кончится? и безнадежного сознания: никогда. Это было еще хуже симфонических концертов в Большом зале Консерватории.

* * *

Бог был – чужой, Черт – родной. Бог был – холод. Черт – жар. И никто из них не был добр. И никто – зол. Только одного я любила, другого – нет: одного знала, а другого – нет. Один меня любил и знал, а другой – нет. Одного мне – тасканьями в церковь, стояньями в церкви, паникадиллом, от сна в глазах двоящимся: расходящимся и вновь сходящимся – Ааронами и фараонами – и всей славянской невнятицей, – навязывали, одного меня – *заставляли*, а другой – сам, и никто не знал.

¹² Народное наименование черта (*примеч. М. Цветаевой*).

* * *

Но ангелов я – любила: одного, голубого, на жарко-золотой, прямо – горящей бумаге, прямо – трещавшей от сдерживаемого огня. Жаркой еще и от моих постоянных, всегда вскипавших и так редко перекипавших, обратно – вкипавших, одиноко выкипавших слез на печном румянце щек. И еще одного, земляничного, тоже немецкого, с раскрашенной картинки к немецкому стихотворению «Der Engel und der Grobian»¹³. (Помню слово: «im rothen Erdbeerguss» – в красном земляничном потоке...)

Один мальчик собирал на полянке землянику. Вдруг видит – перед ним стоит другой мальчик, только большой и весь в белом и с длинными кудрями, как у девочки, а на кудрях – золотой круг. «Здравствуй, мальчик, дай и мне земляники!» – «Вот еще выдумал! – первый, с четверенек и даже не сняв шапки („rückt auch sein Käpplein nicht“¹⁴, – сам собирай, и вообще убирайся – это моя полянка!») И опять – носом в корм. И вдруг – шум. Так лес не шумит. Подымает глаза: а мальчик уже над полянкой... «Милый ангел! – кричит невежа, срывая с себя колпачок, – вернись! Вернись! Возьми все мои ягоды!» Но – поздно. Вот край его белой одежды уже над березами, вот уже выше – уж и самой высокой березе рукой не достать, самой длинной из своих рук... Обжора, упав лицом в злосчастную землянику – плачет, и плачу с ним – сама земляничная обжора и невежа – я.

Много я с тех пор видала земляничных полянок и ни одной, чтобы за краем неременной березы не увидеть того безвозвратного края одежды, и немало раз, с тех пор, землянику – ела, и ни одной ягоды в рот не клала без сжатия сердца. Даже слово Grobian для меня навсегда осталось ангельским. И никакие Адам и Ева с яблоком и даже со змеем так во мне добра не предрешили, как мальчик – с другим мальчиком, поменьший с побольшим, гадкий – с хорошим, земляничной – с заоблачной. И если я потом, всю жизнь, столько «Grobian'ов – на полянках и в комнатах – видала ангелами, демонами, небожителями, то, может быть, от раз навсегда меня тогда ожегшего страха: небесного не принять за земного.

Вечерами, сначала нескончаемо-красными, потом нескончаемо-черными, – так поздно – красными! так рано – черными! – мать и Валерия, летом – Окою, осенью большой дорогой, сначала березовой, потом *большою*, в два голоса – пели. Эти две враждующих природы сходились только в пении, не они сходились – их голоса: негромкое, смущающееся быть большим контрольно матери с превышающим собственные возможности Валериным сопрано.

Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen so heiss,
Als wie heimliche Liebe
Von der niemand was weiss...¹⁵

От этих слов: Feuer – Kohle – heiss – heimlich – (огонь – уголь – жарко – тайно) – у меня по-настоящему начинался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, горящие угли – горлом глотаю.

Keine Rose, keine Nelke
Kann blühen so schön,

¹³ «Ангел и грубиян» (нем.).

¹⁴ И даже шапочки не снял (нем.).

¹⁵ Ни пламя, ни угли не жгут горячей, Чем тайная страсть, Что храню от людей. (Пер. с нем. А. Парина).

Als wenn zwei verliebte Seelen
Zu einander thun stehn¹⁶.

Тут-то меня и сглазили: verliebte Seelen! Ну, что бы – Herzen! И было бы все, как у всех. Но нет, что в младенчестве усвоено – усвоено раз навсегда: verliebte – значит Seelen. А Seelen это ведь See (остзейская «die See» – море!) и еще – sehen (видеть), и еще – sich sehnen (томиться, тосковать), и еще – Sehnen (жилы). Из жил томиться по какому-то морю, которого не видал, – вот душа и вот любовь. И никакие Rosen и Nelken не помогут!

Когда же песня доходила до:

Setze Du mir einen Spiegel
Ins Herze hinein...¹⁷

– я физически чувствовала входящее мне в грудь Валериино зеленое венецианское зеркало в венце зубчатого хрустала – с постепенностью зубцов: setze Herze – и бездонным серединным, от плеча до плеча заливающим и занимающим меня зеркальным овалом: Spiegel.

Кого держала мать в *своем* зеркале? Кого – Валерия? (Одно лето, моих четырех лет, – одного: того, кому в четыре руки – играли и в четыре же руки – вышивали, кому и о ком в два голоса – пели...) Я? – знаю кого.

...Damit Du konnest sehen.
Wie so treu ich es mein,¹⁸

– пояснительно тянули и дважды повторяли певицы. Пяти лет я не знала meinen (мнить, глагол), но mein – мой – знала, и кто *мой* – тоже знала, и еще Меун (Мейн) знала – бабушку Александра Данилыча. От этой включенности в песню дедушка невольно включался в тайну: мне вдруг начинало казаться, что бабушка – *тоже*.

С уходом Августы Ивановны (это она занесла в дом песню) – то есть с концом младенчества, семилетием, кончился и Черт. Зрительно кончился, на Валерииной постели – кончился. Но никогда я, до самого моего отъезда из Трехпрудного – замуж, не входила в Валериину комнату без быстрого и косвенного, как тот луч, взгляда на кровать: там?

(Дом давно-о снесен, от кровати и ножек нет, а тот все-е сидит!)

А вот еще одна встреча, так сказать, заскочившая за младенчество: жалко ему было с такой девочкой расставаться!

Мне было девять лет, у меня было воспаление легких, и была Верба.

«Что тебе принести, Муся, с Вербы?» – мать, уже одетая к выходу, в неровном обрамлении – новой гимназической шинелью еще удлиненного Андрюши и – моей прошлогодней, ей – до полу, шубой – еще умаленной Аси. «Черта в бутылке!» – вдруг, со стремительностью черта из бутылки вылетело из меня. «Черта? – удивилась мать, – а не книжку? Там ведь тоже продаются, целые лотки. За десять копеек можно целых пять книжек, про Севастопольскую оборону, например, или Петра Великого. Ты – подумай». – «Нет, все-таки... черта...» – совсем тихо, с трудом и стыдом прохрипела я. – «Ну, черта – так черта». – «И мне черта!» – ухвати-лась моя вечная подражательница Ася. – «Нет, тебе *не* черта!» – тихо и грозно возразила я. «Ма-ама! Она говорит, что мне не черта!» – «Ну, конечно – *не*... – сказала мать. – Во-первых, Муся – раньше сказала, во-вторых, зачем дважды одну и ту же вещь, да еще такую глупость?»

¹⁶ Ни гвоздика, ни роза Не столь хороши, Как льнущие друг к другу Две любящих души. (Пер. с нем. А. Парина).

¹⁷ Вставь мне зеркало В сердце... (нем.).

¹⁸ Чтобы ты могла видеть, Как искренно мое чувство (нем.).

И он все равно лопнет». – «Но я не хочу книжку про Петра Великого! – уже визжала Ася. – Он тоже разорвется!» – «И мне, мама, пожалуйста, не книжку! – заволновался Андрюша, – у меня уже есть про Петра Великого, и про все...» – «Не книжку, мама, да? Мама, а?» – клещом въедалась Ася. – «Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо: *не* книжку. Мусе – не-книжку. Асе – не-книжку, Андрюше – не-книжку. Все хороши!» – «А тогда мне, мама, что? А мне тогда, мама, что?» – уже дятлом надалбливала Ася, не давая мне услышать ответа. Но мне было все равно – ей что, *мне* было – *то*.

– Ну вот тебе, Муся, и твой чертик. Только сначала сменим компресс.

Укомпрессованная до бездыханности – но дыхания всегда хватает на любовь – лежу с ним на груди. Он, конечно, крохотный, и скорей смешной, и не серый, а черный, и совсем не похож на *того*, но все-таки – имя – одно? (в делах любви, я это потом проверила, важно *сознание* и *название*.)

Сжимаю тридцатидевятиградусной рукой круглый низ бутылки, и скачет! скачет!

– Только не клади его с собой спать. Заснешь и раздавишь. Как только почувствуешь, что засыпаешь – положи возле, на стул.

«Как только почувствуешь, что засыпаешь!» – легко сказать, когда я весь день только и чувствую, что – засыпаю, просто – весь день сплю, сплю, с многими и буйными видениями и громкими радостными воплями: «Мама! Король напился!» – тот самый король над моей кроватью – «Он в темной короне, с густой бородой» – а у меня еще и с кубком в руке – которого я звала Лесной Царь, а который по-настоящему, я потом догадалась, был *der König im Thule – gar treu bis an sein Grab – dem sterbend seine Buhle einen goldnen Becher gab*¹⁹. И этот король с кубком – *всегда* в руке, *никогда* у рта, этот король, который никогда не пьет – вдруг – напился!

– Какой у тебя даже бред странный! – говорила мать. – Король – напился! Разве это бред девятилетней девочки? Разве короли – напиваются? И кто, вообще, когда при тебе напивался? И что значит – напился? Вот что значит потихоньку читать фельетоны в «Курьере» про всякие пиры и вечеринки! – забывая, что она сама же живописала этого августейшего бражника на полотне и поместила его в первом поле моего утреннего зрения и сознания.

Однажды, застав меня все с тем же чертом в уже остывающем кулаке, мать сказала: «Почему ты меня никогда не спросишь, почему черт – скачет? Ведь это интересно?» – «Да-да-а», – неубежденно протянула я. «Ведь это *очень* интересно, – внушала мать, – нажимаешь низ трубки и, вдруг – скачет. Почему он скачет?» – «Я не знаю». – «Ну, вот видишь, в тебе – я уже давно вижу – нет ни искры любознательности, тебе совершенно все равно, почему: солнце – всходит, месяц – убывает, черт, например – скачет... А?» – «Да», – тихо ответила я. «Значит, ты сама признаешь, что тебе все равно? А все равно – быть не должно. Солнце всходит, потому что земля перевернулась, месяц убавляется, потому что – и так далее, а черт в склянке скачет, потому что в склянке – спирт». – «О, мама! – вдруг громко и радостно завывала я. – Черт – спирт. Это ведь, мама, рифма?» – «Нет, – совсем уже огорченно сказала мать, – рифма, это черт – торт, а спирт... погоди-ка, погоди, на спирт, кажется, нет...» – «А на бутылку? – спросила я с живейшей любознательностью. – Копилка – да? А еще – можно? Потому что у меня *еще* есть: по затылку, Мурзилка...» – «Мурзилка – нельзя, – сказала мать, – Мурзилка – собственное имя, да еще комическое... Так ты понимаешь, почему черт скачет? В бутылке – спирт, когда он в руке нагревается – он расширяется». – «Да, – быстро согласилась я, – а нагревается – расширяется – тоже рифма?» – «Тоже, – ответила мать. – Так скажи мне теперь, почему черт скачет?» – «Потому что он расширяется». – «Что?» – «То есть наоборот – нагревается». – «Кто, кто нагревается?» – «Черт. – И, видя темнеющее лицо матери: – То есть наоборот – спирт».

Вечером, когда мать пришла прощаться, я, со сдержанным торжеством:

¹⁹ Король жил в Фуле дальней, И кубок золотой Хранил он, дар прощальный, Возлюбленной одной. (Пер. с нем. Б. Пастернака).

– Мама! А на спирт все-таки есть рифма, только ничего, что по-немецки?

Droben bringt man sie zum Grabe,
Die sich freuten in dem Thal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe,
Dir auch singt man dort einmal.²⁰

«Христос – воскрес, а черт взял да и лопнул! – торжествующе сказала Асина няня, Александра Мухина, стоя пасхальным утром над моей кроватью. – Давай, давай осколки!» – «Неправда! – орала я, сжимая в кулаке драгоценные останки и бия ногами в туго натянутый свод одеяла. – Он лопнул совсем не потому, что Христос воскрес, а потому, что я на него легла... Я его просто заспала, как на суде Соломона». – «Вот Бог, значит, и наказал, что с такой нечистой спишь». – «Ты сама нечисть! – орала я, пробившись наконец ногами сквозь одеяло и – ими помогая. – Тебя самое Бог накажет за то, что ты радуешься несчастьем ближнего!» – «Уж и несчастье! – презрительно фыркнула нянька. – Черт лопнул! Когда дядя родной, Федя, помер, небось не плакала, а тут из-за черта паршивого, прости Господи!» – «Врешь! врешь! врешь! – орала я, уже встав и, как он, скача. – Да разве ты не видишь, что я не плачу! Это ты сейчас будешь плакать, когда я в тебя... (и, ничего не найдя вокруг, кроме градусника)... когда я тебя своими руками разорву, чертовка окаянная!»

«Что-о? – спросила входящая мать. – Это что такое? Что тут за представление?» – «Да ничего, барыня, – с лицемерным смирением сказала няня, – это Мусенька в Светлое Христово Воскресение чертом ругается, да-а-а...» – «Мама! У меня лопнул черт, а она говорит, что это Бог!» – «Что?» – «Что это Бог меня наказал за то, что я его больше любила, чем дядю Федю». – «Какие глупости! – неожиданно повернула мать. – Разве можно сравнивать? Няня, ступай на кухню. Но чертом ругаться в первый день Пасхи, да и вообще... Ведь сегодня же – Христос воскрес!» – «Да, а она сказала, что он потому и лопнул». – «Глупости! – отрезала мать. – Простое совпадение. Он лопнул потому, что нужно же когда-нибудь лопнуть. Но и ты хороша – связываться с неграмотной женщиной. А еще в приготовительном классе казенной гимназии... Но главное – что ты могла себя поранить. Где он?» Молча, чтобы не заплакать, разжимаю руку. «Но ведь тут ничего нет? – мать, внимательно всматриваясь. – Где же он сам?» Я, давась от слез: «Не знаю. Я его так и не нашла. Он куда-то совсем выскочил!»

Да, черт мой лопнул, не оставив от себя ни стекла, ни спирту.

* * *

– Вот видишь, – говорила мать, сидя над моими тихими слезами, – никогда не нужно привязываться к такой вещи, которая может лопнуть. А они – все лопаются! Помнишь заповедь: «Не сотвори себе кумира»?

– Мама, – сказала я, отряхаясь от слез, как собака от воды. – А какая рифма на «кумира»? Тамара?

* * *

Милый серый дог моего детства – Мышатый! Ты не сделал мне зла. Если ты, по Писанию, и «отец лжи», то меня ты научил – правде сущности и прямоте спины. Та прямая линия непреклонности, живущая у меня в хребте, – живая линия твоей дого-бабье-фараоновой посадки.

²⁰ На горах легли в могилы, Кто резвился по лугам. Пастушонок, отрок милый, И тебя оплачут там. (Пер. с нем. А. Парина).

Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не знала, что он – есть.

Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекою: *le divin orgueil*²¹ – словом и делом его.

Тебе, кроме столького, я еще обязана бесстрашием своего подхода к собакам (да, да, и к самым кровокипящим догам!) и к людям, ибо после тебя – каких еще собак и людей бояться?

Тебе я обязана (так Марк Аврелий начинает свою книгу) своим первым сознанием возвышенности и избранности, ибо к девочкам из нашего флигеля ты *не* ходил.

Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди, после которого – все уже было преступлено.

Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедавая ее оценкой и добивая гордыней, ибо ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной.

Это ты, когда я со взрослыми играла в карты и кто-то, нечаянно и неизменно, загребал мой выигрыш, вгонял мне обратно в глаза – слезы, в глотку – слово: «А ставка была – моя».

Это ты оберег меня от всякой общности – вплоть до газетного сотрудничества, – нацепив мне, как злой сторож Давиду Копперфильду, на спину ярлык: «Берегитесь! Кусается!»

И не ты ли, моей ранней любовью к тебе, внушил мне любовь ко всем побежденным, ко всем *causes perdues*²² – последних монархий, последних конских извозчиков, последних лирических поэтов.

Это ты – на всю свою непреклонность превышая распластанный в сдаче город – последним всходишь на сходни последнего корабля.

Бог не может о тебе низко думать – ты же когда-то был его любимым ангелом! И те, видящие тебя в виде мухи, Мушиным князем, мириадам мух – сами мухи, дальше носу *не* видящие.

И мух вижу, и нос вижу: твой длинный серый баронский замшевый догов нос, брезгливо и огрызливо наморщенный на мух – мириады мух.

Догом тебя вижу, голубчик, то есть собачьим *богом*.

* * *

Когда я одиннадцати лет в католическом пансионе старалась полюбить Бога:

Jusqu'a la mort nous Te serons fidèles,
Jusqu'a la mort Tu seras notre Roi,
Sous Ton drapeau, Jesus, Tu nous appelles,
Nous y mourrons en combattant Pour Toi...²³ —

ты мне не помешал. Ты только ушел на самое мое дно, вежливо уступая место – другому. «Ну, попробуй – кротостью...» Ты никогда не снизошел до борьбы за меня (и за что бы ни было!), ибо все твое богоборчество – бой за одиночество, которое одно и есть власть.

Ты – автор моего жизненного девиза и могильной надписи:

*Ne daigne!*²⁴ —

²¹ Божественной гордыней (*фр.*).

²² Поверженным (*фр.*).

²³ До смерти мы верны Тебе сердцами, До смерти Ты для нас господь и царь, Ты призываешь под святое знамя — Погибнем, охраняя Твой алтарь... (Пер. с фр. А. Парина).

²⁴ Не снисхожу (*фр.*).

чего? Всего: ничего не daigne – да хотя бы – снизойти до здесь-лежащего праха.

И когда мне, на всей моей одиннадцатилетней жизни грехи, из черной дыры чужих глаз и чужой исповедальни было сказано:

Un beau bloc de marbre se trouve enfoncé dans la boue du grand chemin. Un homme vulgaire marche dessus et l'enfonce encore plus profondément. Un noble coeur le dégage, le lave et en fait une statue qui dure éternellement. Soyez le sculpteur de Votre âme, petite Slave...²⁵

Чьи это слова?

* * *

Тебе я обязана зачарованным, всюду со мной передвигающимся, из-под ног рождающимся, обнимающим меня как руками, но как дыханием растяжимым, *всё* вмещающим и *всех* исключаяющим кругом своего одиночества.

И если ты когда-то в виде серой собачьей няни снизошел до меня, маленькой девочки, то только затем, чтобы она потом всю жизнь сумела одна: без нянь и без Вань.

* * *

Грозный дог моего детства – Мышатый! Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освящают ни плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в залах суда, где равнодушие судит страсть, сытость – голод, здоровье – болезнь: все то же равнодушие – все виды страсти, все та же сытость – все виды голода, все то же здоровье – все виды болезни, все то же благополучие – все виды беды.

Тебя не целуют на кресте насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и соубийца – священник. Тобой не благословляются бои и бойни. Ты в присутственных местах – *не* присутствуешь.

Ни в церквах, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, ни в тюрьмах, – там, где право – тебя нет, там, где много – тебя нет.

Нет тебя и на пресловутых «черных мессах», этих привилегированных массовках, где люди совершают глупости – любить тебя вкупе, тебя, которого первая и последняя честь – одиночество.

Если искать тебя, то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической Поэзии.

Тобой, который есть – зло, общество *не* злоупотребило.

Ванв, 19 июня 1935

²⁵ Прекрасная глыба мрамора лежит, вдавленная в мостовую. Человек заурядный проходит поверху и вдавликает ее еще глубже. Благородное сердце извлекает глыбу из земли, очищает ее и создает изваяние, которое живет вечно. Будьте ваятелем собственной души, маленькая Славянка... (фр.).

Примечания

Все тексты печатаются по изданию: Цветаева Марина. Собр. соч. в 7 т. Т. 4, 5. М.: Эллис Лак, 1994. При подготовке примечаний использовались материалы комментариев А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина из этого собрания, разыскания В.А. Швейцер, И.В. Кудровой, Р.А. Будагова, Н.А. Козиной, Л.П. Черкасовой и др. Стихотворные и другие цитаты, как правило, не атрибутируются. Повторяющиеся реалии комментируются лишь при первом упоминании.

Чёрт. Впервые, с сокращениями – в парижском журнале «Современные записки» (1935. № 59).

«Жемчужины русской поэзии» – название сборников стихотворений для детей в начале XX века.

«Красный карбункул» – сказочная поэма В.А. Жуковского, перевод одноименного произведения немецкого поэта И.-П. Хебеля.

Революционер «Тигр» – так прозвала Марина Ивановна политэмигранта Владимира Александровича Кобылянского.

«Аксюта-Нянька» – подразумевается рассказ писательницы К.В. Лукашевич «Маленький барабанщик».

...Цветаев Володя... сын дяди Мити. – Историк, публицист, педагог Д.В. Цветаев (1852—1920) – брат И.В. Цветаева; его сын Владимир – архитектор.

...пирожкам от Бартельса... – кондитерская фирма в Москве.

...отцову отцу, шуйскому протоиерею... – Владимир Васильевич Цветаев (1820—1884), священник села Талицы Шуйского уезда Владимирской губернии.

«Курьер» – ежедневная газета, выходившая в Москве в 1897—1904 годах.

...дядя родной, Федя... – Ф.В. Цветаев (1849—1901), учитель гимназии, инспектор Московского учебного округа.